

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА  
**АЛЕКСАНДРА  
МЕЛИХОВА**

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

### Улики против красоты

Проза Александра Мелихова — это ответ на вопрос: как можно, по-настоящему узнав жизнь, все же рваться писать о красоте?

Мне кажется, автор и сам себе удивляется и в каждой новой книге устраивает разбирательство, верша суд не то над реальностью, не то над своими, как будто неуместными в ней, идеалами.

Автор многочисленных романов и статей, публикующийся с восьмидесятых годов, Александр Мелихов умеет противостоять миру с силой и чистотой юноши-идеалиста.

И не только в книгах, но и в общественной деятельности: как инициатор и участник программ помощи детям-инвалидам и реабилитации людей с суицидальными наклонностями и наркотической зависимостью, он отстаивает представления о человеческом достоинстве, разуме и красоте в полемическом бою с жизненной практикой, предающей их поруганию.

И в этом смысле страшно похож на свою трепетную, но профессионально подкованную героиню — криминального психолога.

Героиня романа «Свидание с Квазимодо» изо дня в день проводит многослойные тесты на образные

ассоциации и аспекты личности с людьми, чей лексикон «практически не содержит абстрактных понятий», а будущее сжалось в узкий след совершенного злодеяния.

Вот кто, пожалуй, главный оппонент Мелихова — человек без абстрактных понятий в голове. Такой, значит, для которого и красота — абстракция.

И человеческое достоинство, и разум.

В руках этого чужака ясные идеалы Мелихова вдруг обнаруживают свою теневую природу.

Фразу, что красота спасет мир, как только не трепали. У Мелихова на этот счет найдется возражение: красота в его книгах — не спасительница, а провокатор.

Красота не то, что торжествует над злом.

А то, что и злу, и добру причина.

Красота виновата в романах Мелихова — потому что она из немногих в жизни неотразимых стимулов для поступка.

И доброго, и злого.

«Свидание с Квазимодо» ставит нас перед лицом парадоксальной подмены: как часто красотой, идеалом, жаждой лучшего готовы мы оправдать настоящее преступление?

Убогая «судебка» неожиданно сближается с космоподобным пространством древних мифов, и на свет являются «Медея из лесхоза» или «Лукреция со сто первого километра». Но Мелихов не собирает криминальный декамерон: предания из застенков здесь не для коллекции и развлечения, а для решения, последнего выбора, который на наших глазах делает героиня, и мы вместе с ней.

Красота — невероятный алхимический элемент, обращающий рядовое злодеяние в культовое деяние, а криминальную бытовуху в великий культурный миф, — ускользает от героини тем дальше, чем на-

стойчивей она пытается обрести вещественные следы ее присутствия.

Но красота не присутствует, а сквозит, как пыльный и сытный воздух между колосьями в пшеничном поле, где героиня когда-то в детстве пережила высшее напряжение восторга и ужаса.

Красота узнается по этой предельной интенсивности переживания, красота беспокойна и никогда не удовлетворена, красота бежит, гонясь сама за собой, — и увлекает в зловещий бег героиню.

Чья жизнь, не завладей ею идея красоты, могла сложиться вполне благополучно.

Но красота не меряется благом.

Александр Мелихов — действительно опасный мечтатель.

Настоящий сын XX века, поднимавшего поколения и народы на величайшие исторические деяния во имя идеала.

Величайшие — не значит благие.

Вот почему, мне кажется, он злится на век, на себя, на людей, раз за разом попадающих в ловушку этой жажды — меряющих жизнь интенсивностью, силой, красотой.

Благо тихо — красота оглушительна.

Благо умиротворенно — красоте всегда мало.

Благо пребывает — красота гонится.

Роман Александра Мелихова — развернутый психоанализ современного общества, движущегося ко все большему напряжению исканий и требований — прочь от бесправного, убогого, некрасивого детства.

Воплощенного здесь в образе казахского села, где провела первые годы жизни главная героиня.

Повзрослев, она оставляет позади бараки и поле — места встречи с первыми страхами и вспышками радости.

И не догадывается, что эта красота навечно осела позади, как пшеничная пыль.

Взрослея, мы учимся все искушенной и сложнее ценить красоту.

Но больше никогда не чувствуем ее, как впервые — когда были детьми.

Так вот почему за ней не угонишься — она всегда позади?

Красота — внутри нас, прежних, заглядевшихся на вознесшееся выше головы пшеничное поле.

А значит, давно уже не с нами, переросшими чудо и предавшими себя.

«Бесчеловечная красота», «красота мира без человека» звучит последним идеалом в этой книге, прекрасной потому, что преодолела искушение красотой.

*Валерия Пустовая*

**К**огда от их стука слегка задрезжалось оконное стекло, она ничуть не испугалась: к Кольке такие и ходили — не сильно бритые, но и не сказать, чтобы очень уж небритые, брезентовые плащи подзамызганные, но все ж таки не до бомжатины, — стройка есть стройка, сто первый километр есть сто первый километр. Колька с утра уехал в город и скоро вроде должен был вернуться. Она вполне культурно предложила им подождать, накрыла лишь вчера отскобленный стол с красивыми темными прожилками, — из-за годами впитывающегося масла дерево немножко просвечивало и казалось очень дорогим. Мама еще в Унгенах втолковала ей, что гости мужа — это и ее гости, и она не пожалела даже голубцов по-молдавски, заготовленных аж до конца недели. У гостей с собой было, и она поставила им хорошие граненые стопки, нарезала селедки, лучку, но сама пить отказалась, чтоб видели, что она не такая.

Но когда они после похвал и заигрываний перешли к поглаживаниям, она сразу дала по рукам — одному, другому...

А третий, самый неразговорчивый, вдруг повалил ее прямо на стол, на пустые тарелки и стопки. Это было до того по-дурацки, что она даже не испугалась,

а попыталась его сбросить с себя, словно невесть откуда свалившийся мешок. Но мешок пиявкой всосался в ее рот, а его дружки с двух сторон схватили ее за ноги и стали тянуть в разные стороны. А она с утра всего и накинула халат поверх ночнушки...

Она и сама не знала, что так лихорадочно пытается нашарить, наверно, что-нибудь твердое, не больше, но когда почувствовала в руке деревянную рукоятку, уже действовала, как машина: изо всей силы, докуда дотянулась, всадила навалившемуся нож в задницу. Он с воплем подскочил, и она, взлетев за ним пружиной, вбила лезвие в клетчатый жирный бок. Он охнул и осел. Она такой же пружиной развернулась к правому (он медленно распрямлялся, а нижняя челюсть еще медленнее отъезжала книзу) и без промаха ударила его в ямку возле шеи, — он хекнул, будто колот дрова, и она успела выдернуть нож раньше, чем тот успел схватиться за раненое место. Он сразу и схватился, и отшатнулся, и загремел через табуретку. Третий бросился бежать, но споткнулся о порог, и она ударила его в спину — раз, другой, третий, четвертый, пятый...

Вернулась в комнату. Корчился и матерился на полу один только первый, — держась за бок, задирал рубаху, пытался заглянуть, чего там делается, — она добила его с одного удара. Затем поставила табурет на ножки и не двигаясь просидела до темноты. Темнело уже рано, но она не шевелилась, пока не поняла, что Колька не приедет. А потом до нее дошло, что эту шатию, наверно, никто не видел, а и видел, так не обратил внимания, по поселку много шарится таких.

Черная зубчатая стена елей начиналась сразу за баракон, опушку заменяла свалка — стаскивали туда кто во что горазд. Она, надрываясь и задыхаясь, сре-

ди непроглядной мокрой тьмы поочередно отволокла всех троих на их же плащах к ржавым ведрам и прогнившему тряпью, не чувствуя ни малейшей безгливости, разгребла помойку руками, бесконечно долго на ощупь рыла яму, потом на ощупь же стянула туда все три тела и, хрипя уже не горлом, а грудью, то лопатой, то руками, засыпала их мокрой землей; притаптывать не стала, побоялась топтаться на людях, лишь, ползая на четвереньках, постаралась нагрести туда побольше всякой дряни.

Потом бесконечно рвала на тряпки старые платья и отмывала загустевшую кровь; кровавыми тряпками набила два полиэтиленовых мешка и сволокла уже на нормальную помойку, сложенную из шпал. Обычно она стучала по люку, чтобы отогнать крыс, но на этот раз все сделала тихо и даже не побоялась задвинуть мешки поглубже. А потом заснула как убитая, не раздеваясь и не разобравши постель.

Колька приехал лишь к обеду, злой (угодил в вытрезвиловку), рук ее ободренных не заметил, спросил только: «Ты чего как пыльным мешком шандрахнутая?» Знал бы он, что это был за мешок...

А потом пошла обычная жизнь. Этих сволочей если кто и разыскивал, до нее их розыски не дошли. Зато где-то через полгода она начала слышать голоса. Слов было не разобрать, но они на что-то жаловались, даже плакали. Сначала она думала — ветер, но они не умолкали и в подполе. Колька их не слышал, только злился, а голоса становились с каждым днем все громче и жалобнее, так что в конце концов она почти совсем перестала спать, исхудала, кожа под глазами ссохлась и пожелтела, как урюк, понемногу переходивший в чернослив...

В милиции ей не поверили, но, когда раскопали свалку, поверить пришлось.

\* \* \*

Он гордился, что как его в детдоме перекрестили из Киры в Кириюху, так он и в свои сорок два оставался тем же Кириюхой — бывалым, тертым, умеющим и срубить бабки, и завалить бабу, и, если надо, толково отсидеть: настоящий мужик, на всех забивший, в любой момент готовый бросить хату, бабу, работу и вербануться хоть в пустыню на газопровод, хоть в тайгу на лесоповал. Потому его и разозлил этот ленинградский пацан, когда начал брать судью на слезу: по наклонной плоскости, мелкая кража, нуждался в снисхождении...

Да ни в каком он снисхождении не нуждался! Взял на спор с витрины пачку печенья и спокойно пошел, руки в брюки, и кивале тоже так прямо и врезал: ты-то чего подмахиваешь? А то мелкая кража, мелкое хулиганство, мелкая кража, мелкое хулиганство — все у этого сосунка мелкое, он сам только шибко крупный, житухи не нюхал, а туда же: бессмысленная, пустая жизнь... У него, видать, шибко полная! Да он, Кириюха, больше перетрахал баб, чем этот соплик с Дунькой Кулаковой кончил! Еще бороду отпустил... Под геолога, что ли, косит? Поглядели бы на него в разведке где-нибудь на Таймыре или на Колыме!

Когда он про них с Азимкой стал вкручивать (почему-то, как бы с намеком, напирал, что она Ахматова, — нормальная татарская фамилия), так Кириюха чуть не блеванул: встретились ночью на пригородном вокзале, сразу же вступили в половую связь... А что, он должен был, как ты, полгода по театрам ее водить, когда он полгода те самые живой бабы не видел? Распили агдамчику под лестницей — от него кровь густеет и хер толстеет, — да он ей и засадил на ее же ватнике. И хорошо потом погуляли, а не так, как этот бородатый пидор нудил: передвигались в

ночных электричках, ночевали на вокзалах, пьянствовали, перебивались случайными заработками...

Это что, плохо? А лучше запрячься в один хомут и на всю жисть-жестянку?

На зиму они на пару устроились в лесхоз, и все было бы ништячок, если бы Азимка не оказалась с начинкой. Само собой не от него, по месяцам не выходило. Ну и чего он, дурней трактора — кормить чужого спиногрыза? Тем более и на хате хозяин сказал, что сдавал угол бездетной паре, а хныканье с пеленками ему и свои остоборзели. Так и что, он, Кирюха, не имел права в лоб объявить Азимке, что, если не избавится от ссыкуна, он с ней жить не будет? Все было по чесноку, все мужики всем бабам так говорят — кто согласится тянуть на себе чужого выблядка?

Ему и во сне не могло присниться, что эта дура безмозглая возьмет и бросит ребенка в лесу! Они ж, татарки, он считал, за детишек держатся. Сто же раз долбил этой дуре косорылой: оставь в роддоме, оставь в роддоме — только бабе такое могло прийти в башку: раз с ней и с ее Виталиком в больничке все так носятся, значит, оставить его запаadlo. А в лесу бросить возле муравьиной кучи не запаadlo. Еще и покормила напоследок, лахудра. Хотя, если разобраться, в лесу ж никто не видит, выеживаться не перед кем. Грибник через неделю набрел, так тоже думал, просто куча тряпья, кое-как закиданная ветками. А тряпье вдруг запищало.

Потом врачи говорили, что все дело было в муравьиной кислоте, чем-то там она полезная. А в зале, вместо чтобы обрадоваться, опять завопили: звери, звери!.. Он-то тут при каких делах? Но, правда, и болезни прокурор полчаса зачитывал — и пневмония, и воспаление среднего уха, всего не упомнишь. Бабы в зале на этом месте прямо завьили: расстрелять обо-

их — если б не усиленный конвой, точно бы разорвали. Хотя никто их с Азимкой там знать не знал, их в райцентр привезли судить. Но подумали бы своими бошками: да, Азимка и правда хотела Виталика убить. Но не убила же! А ему и вообще, получается, надо зеленой лоб намазать только за то, что не хотел кормить да слушать визг чужого спиногорыза.

В детдоме зеленка — это было главное лекарство... И ничего, выросли покрепче маменькиных чмошников. Но этот бородатый пацан, надо отдать, не зассал. Его б тоже разорвали, дай им волю, его в «воронке» вывозили на соседнюю станцию, — так его и в электричке мог бы опознать какой-нибудь доброхот, а он все равно трендел как по бумажке, — Кирюха даже приглядывался, не подглядывает ли он куда — нет, не видать. Он правильно ухватился: Азимка Виталика выбросила, на Кирюхино счастье, аккурат в тот единственный день, когда он не гудел, а приполз-таки на вырубку, и получалось, он за полтора обеденных часа должен был встретиться с Азимкой, оттащить пацаненка в лес и опять добежать до участка. Ленинградский шапира на этом и оттоптался: за такой срок туда-сюда мог бы смотаться олимпийский чемпион, а не ведущий антиобщественный образ жизни гражданин сорока двух лет без определенного места жительства. Но, похоже, Кирюху тоже можно было бы запустить на олимпиаду, если б его всю дорогу два мента подгоняли пинками и грозились завалить при попытке, если будет тормозить. Они его тоже ненавидели, и за Виталика, и просто так, открыто говорили: когда вы только все, мрази, передохнете...

Но ленинградский адвокатишка правильно трендел: у преступления должен быть мотив, а у него мотива не было, он за Азимку не держался, он и в больничку к ней приходил уже с Нелькой (на суде не сразу

понял, кого тут называют Нелли Веретенниковой). Да только этому лошью без разницы — из-за него же Азимка ребенка выбросила? Из-за него. Значит, поихнему, он тоже виноват. Правда, и питерский докторишка талдычил в одну точку: почему на следствии Азимка базарила, что все сама задумала, а на суде стала орать, что это он ее заставил? Ежу понятно, а этим бакланам непонятно: сто процентов ревность! Она как увидела Нельку, сразу и забазлала: это он, это он меня подучил! Прокурор Иваныч сразу подсуетился: может быть, он вас заставлял, угрожал? «Да, да, угрожал, пусть посидит без бабы!!!» Ну — ревность же, сто процентов! «Так вы, может быть, вместе и ребенка в лес относили?» — «Вместе, вместе!»

И все ж таки ленинградский умник дожал этого залупинского Иван Иваныча, на минутах дожал. Выяснил, откуда и когда Азимка выходила с Виталиком, и получилось, что у нее до встречи с Кирюхой должно было пройти еще самое маленькое сорок минут. А после этого и чемпион бы не успел. Тем более Азимка после родов.

Да еще покормить, да еще ветками забросать!

Все, сто процентов невиновен, освободить из-под стражи в зале суда. А Азимке заделали пятнаху за покушение с особой жестокостью, с попыткой оговора и много еще чего. И тут надо бы все сделать по-умному, втихаря, он и сам, ну его на хер, не хотел освобождаться среди этих волчар, а Нелька-дура — ну, баба есть баба, да еще поддатая — заорала: Кирка, поехали ко мне, обмоем новую жизнь! Зачем было Азимку так при всех опускать? Он только начал оглядываться на конвоиров, проводят они его к заднему выходу или так тут и бросят на съедение, и вдруг шею как обожгло. Схватился — а там не просто кровь, а прямо по пальцам бьет, будто шланг прорвало...